ECCE HOMO[[1]](#footnote-1)

Моей бабушке

Антонина Филатовна открывает глаза и понимает, что она не в раю. И не в аду, слава тебе господи.

Солнце высвечивает узоры на ковре. Если долго лежать, то луч переберётся на поблекший пейзаж, вырезанный из настенного календаря. Антонина Филатовна плохо видит, но очертания Кремля ещё угадываются. А может, она их просто помнит.

Вспоминает детство: рабочий район за Рекой, и жаворонков, которых мама пекла на Со́роки. Мама… какая она? Антонине чудятся красные, разбухшие от щёлока руки и аккуратная кофточка с вышивкой. Мама из её воспоминаний совсем не похожа на суровую женщину в наглухо застегнутом платье, которая таращится с семейного фотоснимка неестественно светлыми глазами. Мама там совсем молоденькая, и все остальные – родители, братья, дядья – как с картинок к горькому пешковскому «Детству». Его, несмотря на все «свинцовые мерзости», она любила куда больше конфетного Николенькиного с ваточными халатцами и игрушечными собачками...

Антонина тихонечко переваливается на бок. Руки ощущает, и ноги тоже, спина болит, и это хорошо, потому что и спину ощущает. Набрякшая голова тянется к подушке, но солнце уже наползло на Коромыслову башню, и, значит, пора вставать.

Непривычно спать одной на кровати. Шесть лет уж, а всё непривычно. Митя спал с краю, лишь изредка, сильно пьяного, укладывали его к стене, чтобы не скатился на пол.

Слишком широко. По молодости-то они где только не ночевали: и на сундуке в углу, отгороженном занавеской от хозяйкиной комнаты, и на солдатской кровати, где можно было умоститься лишь на боку. Ей бы сейчас та кровать пришлась кстати – говорят, для спины хорошо…

Она останавливается в прихожей и глядит на календарь, который внук Вадим привёз из Рима. На каждый месяц – своя картинка, и та, что открылась вчера, называется Ecce homo. Надо будет спросить у внука, что это значит, по-английски он хорошо понимает… Хотя Антонине безо всякого перевода ясно, что это Спаситель наш Иисус Христос. Прямо в душу смотрит, и глаза синие-синие. Чем-то на Митю похож, но так думать, наверное, не подобает. Хорошая картина, хоть и на икону не похожа.

Лампочка в ванной не зажигается – перегорела, но умыться можно, потому что свет падает через окошко из кухни. Вот зачем окошко придумано, а они головы ломали по молодости. Чтобы не в темноте умываться, когда Вадик за тысячи километров, а Оля, если ей пожаловаться, пришлёт какого-нибудь работника. Антонина чужих в доме теперь не любит. Не потому, что воров боится, просто не хочет, чтобы люди на неё смотрели.

Она располнела, и ноги стали как брёвна. Но не эта некрасота пугает Антонину – она стыдится слабости. Она стесняется лежать при чужом человеке, ей неловко, если не будет сил предложить чаю, а стакан окажется мутным.

В полумраке она аккуратно чистит зубной протез, бросает горстями в лицо воду и растирает полотенцем – раньше таких не делали. Совсем воду не впитывает, только размазывает по лицу. Синтетика. Всё теперь синтетика.

Антонина раскладывает на подоконнике таблетки. Вот эту нужно сейчас принять. И эту. А эту расколет щипчиками пополам. Таблетка маленькая, скользкая, так и норовит выскользнуть из огрубевших пальцев и улететь в пыльный угол под плиту. Такое уже бывало. Должно быть, там много таблеток, никто их не выметает. Интересно, думает Антонина, а если мышь съест таблетку – она отравится? Или, может, у неё давление упадёт? Если да, то всё равно умрёт – с такой-то дозы. Фу ты, господи, что это ей в голову лезет? Маразм. Здесь и мышей нет, а в бараке были...

Она поворачивает краник, и в чашку с жалобным звуком течёт вода. У неё неприятный привкус, но у них с Митенькой и Олей так повелось –
кипячёную воду наливать в самовар. А теперь их нет рядом, зато вода в самоваре есть.

Сегодня Антонина чувствует в себе силу и варит овсянку. В другие дни она обходится бутербродами или даже куском хлеба, посыпанным сахаром. Когда сил не остаётся жевать, лежит и смотрит на башни Кремля, пока они не смешаются со сном.

«Вставай, Тонюшка», – говорит мама, и тёмные глаза блестят – не такие, как на фотографии.

Вместо платья мама одевает Тоню в длинную белую сорочку и прямо в этой льняной нелепице, накинув поверх бабушкин платок, ведёт на Реку.

На Тониной родине небо совсем другое – высокое и нескончаемое, висит и над городом, и над степью. Над водой стелется туман. Ногам зябко.

На берегу их ждёт Тонина тётка и мужчины с бородами. Бороды Тоня не любит. У папы бороды нет, вместо неё – улыбка. Он любит её: после пяти сыновей у него родилась долгожданная дочь. Сейчас папы нет рядом, и это пугает Тоню. Почему-то кажется, что произойдёт плохое. Но вместо этого один из бородачей берёт её за руку и, улыбаясь, что-то говорит нараспев и торопясь, но так ни разу и не сбившись – как так можно? Тоня, например, когда спешит, путает слова. Они вдвоём входят в Реку, вода тёплая, и бородач поливает ей голову. Мама обычно запрещает мочить волосы, но стоит поодаль и молчит…

Крестик тогда, разумеется, не надели. Его, потемневший и мятый, мама зашила в одежду во время войны, потом он куда-то пропал и нашёлся уже после того, как мама ушла. С вещами в их семье вообще происходили престранные вещи...

...Перья плавали в тазу, сохли, а затем расторопные мамины руки рассовывали их по свежим наперникам. В мутный щёлок мама упустила колечко из польского золота, которое папа принёс с войны. Тоня весь двор облазила – ничего. «Видно, ноги приделали», – с грустью сказала мама. Вскоре её не стало.

Тоня сделалась Антониной, потом – Антониной Филатовной. Однажды, слушая свистящее дыхание мужа и радуясь, что он спит, Антонина приподнялась на локте и перевернула прохладной стороной вверх раскалённую подушку. В шве наперника почудилось что-то круглое, твёрдое… Неужели?

Не дожидаясь утра, она распорола подушку. На ладонь выпало колечко из польского золота.

И снова – ковёр, Кремль. Значит, не рай и не ад. Хотя откуда ей знать? Может, ад как раз в этом – вечно подниматься на непослушные ноги, идти в ванную, где не горит свет, и молить о том, чтобы увидеть голубые глаза Ecce homo?

Однажды Антонина забрела в церковь. Обычно старалась выбирать время, когда никого нет – на службах её охватывала комсомольская робость: не знала, куда встать, как сложить руки, как ставить свечи. Но в тот день она всё перепутала и пришла к проповеди, из которой (если правильно поняла) уяснила, что никаких калёных сковородок в аду нет, он – ледяная пустыня, полная безысходности.

«Мама, – сказала Оля, – надо лечиться». Антонина Филатовна дрожащей рукой отодвинула чашку. «Так невозможно, ты только посмотри, как у тебя рука пляшет». Рука и правда плясала. Или, скорее, отсчитывала невидимые деньги – за всю жизнь столько не заработала.

«Как дела у Вадика?» Дочь погрозила пальцем, мол, зря тему переводишь, но начала вдохновенно рассказывать про сына.

У Оли было красивое сильное лицо, совсем не похожее на Антонинино. Она уродилась папиной дочкой. Когда Антонина укутала её в одеялко и, с трудом втиснувшись в проходящий поезд, привезла к родственникам, те развели руками – не наша порода.

Взгляд раскосых глаз вернулся к руке, и Антонина поспешила задать новый вопрос: «А как на личном фронте?»

Олю будто отбросило в отрочество, губы сложились в упрямую скобку – такой она была, когда Митя не отпустил её в летний лагерь. Ему, партийному, атеисту, цыганка, разозлённая тем, что не позолотил ручку, шепнула: «Дочь твоя утонет до свадьбы». И он поверил. Если бы ему сказали про Антонину, плюнул бы и махнул рукой – эта выплывет, недаром на Реке родилась. Она грузовик умеет водить, литейщики в цеху у неё по струнке ходят, чушь говоришь, цыганка, несознательная ты… а про Олю – поверил, потому что любил до безумия.

«Об этом не будем», – это Ольга о «личном фронте». Значит, плохо. С отцом Вадика она разошлась давно, когда мальчик оканчивал третий класс, потом помыкалась от одного к другому и обмякла, отчаялась. Было у них с Митей такое – боялись трудностей. Антонина не такая. На Родине, в рабочем посёлке, не поняли бы. Умри, но сделай, говорил отец – и умер, делая. Надорвал сердце. А Митя, сильный и смелый мужик, однажды бросил молоток и едва не расплакался, когда гвоздь скривился, входя в стену.

В Антонине была *прочность* – так учили на сопротивлении материалов. Она только и делала, что сопротивлялась, но не считала это подвигом.

Проходя по коридору на кухню за очередной порцией таблеток – от давления, стенокардии, желудка и всего на свете, – Антонина смотрит на Ecce homo. Терновый венец впивается в нежную кожу лба, но в голубых глазах Спасителя её закалка. Он, наверное, наш, из рабочего посёлка, весело думает она и тут же одергивает себя: не богохульствуй, о душе подумать надо. Спаситель понимающе улыбается: что с тебя взять, институт окончила, да только ничего не изменилось в тебе, рабочая косточка.

По дамбе несутся куда-то машины. Сумерки укутывают кладбище, на котором упокоился Митя и куда когда-нибудь, возможно, очень скоро, свезут Антонину. Это не страшно. Наверное…

Она раскалывает таблетку на половинки, аккуратно кладёт их на фольгу и поворачивает краник самовара. Знакомого журчания не слышит – вода кончилась.

Встать с табуретки несложно, а вот наполнить чайник, не расплескав, и зажечь газ – испытание. Выдерживает вопреки сопромату.

 В мутных сумерках, щурясь на голубые отблески газовой горелки, садится к столу. День прошёл. Так медленно все у неё теперь выходит, но сутки за сутками летят, приближая к развязке.

Антонина смотрит новости и передачу, где все кричат, перебивая друг друга и обсуждают чьи-то проблемы. Выключает телевизор – экран некоторое время светится молочным прямоугольником. Оля обе-
щала купить новый, с ладонь толщиной. Зачем?

Грохают об пол тапки. Широкая кровать – ползти по ней, как по полю… Укрыться одеялом – и то тяжело. Устраивается терпимо, даже спина «тосковать» перестаёт.

В темноте не видно, но Кремль по-прежнему стоит – прочный.

Антонина Филатовна закрывает глаза и просит Ecce homo дать ей увидеть ещё раз, как утреннее солнце коснётся Коромысловой башни.

1. «Се человек» *(лат.).* Слова Понтия Пилата об Иисусе Христе. [↑](#footnote-ref-1)